Л. П. НИКИФОРОВ

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

В один из моих приездов в Москву старый мой приятель Владимир Федорович Орлов посоветовал мне познакомиться с Вл. Серг. Соловьевым, и мы как-то вечером отправились к нему. «Не знаю, в Москве ли Соловьев, — заметил Орлов. — Спросим у извозчиков».

- Почему же извозчики могут это знать? удивленно спросил ${\bf s}$.
- А видишь ли, он не только ездит с ними, но часто случается ему отбирать у них всю выручку.

Из дальнейших расспросов я узнал, что Владимир Сергеевич не любил отказывать не только нуждающимся, но и вообще просящим. Если ему случалось раздать все имевшиеся при нем деньги, а встречался еще нищий, то он занимал у извозчика. Это очень нравилось извозчикам, и они считали Соловьева особенно «душевным барином».

Соловьев жил тогда на углу Пречистенки и Зубовской площади. Дойдя до площади, Орлов спросил у стоявшего там извозчика: «А что Соловьев, Владимир Сергеевич, в Москве?» — «В Москве, дня три как уже приехал, и теперь дома», — ответил извозчик, нисколько не удивленный этим вопросом.

Соловьева мы действительно застали дома, но ему нездоровилось, его лихорадило, и он, укутываясь в плед, сидел на диванчике маленькой своей комнаты, даже на окне которой стояло несколько икон.

Беседа зашла об отношении Ветхого Завета к Новому. Владимир Сергеевич отстаивал их если не тождество, то родство и утверждал, что они плод одного и того же дерева, с тою только разницей, что Ветхий Завет можно уподобить дикому, кислому плоду, а Новый — уже облагороженный, сладкий, но все же яб-

лоня одна и та же; мы же больше высталяли на вид их не сходства, а противоположности. Не желая утомлять его, мы скоро ушли, и затем я довольно долго не видал его, пока не встретил у Льва Николаевича Толстого.

Поразителен был контраст между этими двумя людьми не только по внешности, но и во всем умственном и духовном складе. Толстой был некрасив, но вся фигура его дышала необычайной телесной и духовной мощью истого сына земли. Соловьев был замечательно красив, но худ, болезнен и как бы соткан из одних нервов, являясь художественным воплощением мыслящего интеллигента. Один стремился свести небо на землю, другой сам воспарял к небесам. Их влекла тогда друг к другу как общая жажда водворить царство Божие на земле, так и ненависть к царящему злу. Нередко можно у Соловьева встретить блестящие страницы, под которыми охотно подписался бы Лев Николаевич.

«Подмен христианства формальным православием есть коренное зло, с которым мне приходится бороться всю мою жизнь». Чьи это слова? Можно было бы приписать их Толстому, а между тем так характеризует Соловьев свою деятельность. В то время Соловьев не относился враждебно ко Льву Николаевичу, а, напротив, восхищался его произвдениями и поручил, между прочим, Орлову составить из них сводку мыслей, пригодных для солдат. «Я постараюсь, чтобы такая книжка была в ранце каждого солдата», — говорил Соловьев. Такой книжки Орлов не составил, но это, вероятно, подало Толстому мысль написать свои знаменитые «памятки» — солдатскую и офицерскую 1. Когда я впоследствии спросил Владимира Сергеевича, думает ли он выполнить свое благое намерение, он как-то неохотно ответил, что собирался это сделать при Александре III, а теперь считает это лишним. Почему — так и осталось для меня тайной.

Немало было у Соловьева общих черт с Толстым, например их громадная начитанность, их интерес ко всем сферам человеческой мысли, их необычайная память; но Толстой никогда не забывал даже самой мелкой художественной черты, почему-нибудь поразившей его в человеке или в художественном произведении, а Соловьев — каждую пленившую его мысль.

Зайдя как-то ко Льву Николаевичу, я застал у него в кабинете несколько посетителей, которым Толстой читал вслух третью статью Соловьева о «Смысле любви», только что появившуюся тогда в журнале «Вопросы философии и психологии» ². Дойдя до того места в этой статье, где говорится о бессмертии и воскресении, и зная из предыдущих наших бесед, что я считаю это задачей человечества, Лев Николаевич, улыбаясь, посмотрел на меня

и скзаал: «А особенно по душе эта статья должна быть одному из нас». Окончив ее, он заметил: «Поразительно, как умеет Соловьев сразу схватить самую суть дела, запустить сошник под самый корень, в самую глубь вопроса; но всегда страшно за него, что он не сможет довести борозду до конца». На другой день мне опять пришлось быть у Льва Николаевича, и речь зашла о статье Соловьева. Толстой признавал, что основная мысль ее верна, «но лишь в идеале, а ведь идеал только потому идеал, что он недостижим». «Недостижим в ближайшем будущем, а не вообще», — заметил я. «Ну конечно, но разве лишь в очень, очень далеком будущем».

Вновь увидеться с Владимиром Сергеевичем мне пришлось не скоро, и не в Москве, а в Петербурге, в котором году — не припомню. В то время А. В. Васильев — один из немногих чистых и искренних славянофилов, особенно гордившийся тем, что у нас смертная казнь отменена прежде, чем где-либо в Европе, — задумал издавать журнал «Русская беседа» ³. Я имел удовольствие несколько знать Васильева и предложил перевести для его журнала только что вышедшую книгу Дрюммонда «Восхождение Человека» (The Ascent of man) 4. Васильев охотно согласился, и в дальнейшей нашей беседе его пленила мысль пригласить в сотрудники Владимира Сергеевича. С этой целью я зашел к Соловьеву, занимавшему номер в гостинице «Англия». Владимир Сергеевич дать статью согласился, но лишь со временем. Названную книгу Дрюммонда он в то время не знал, но восхищался другой его книжкой — «Естественный закон в духовном мире», для перевода которой обещал дать предисловие. Мой перевод этой последней книги, с значительными, кажется, сокращениями, был помещен в «Русской беседе» 5, и по этому поводу Владимир Сергеевич написал мне одно из прилагаемых писем. Перевод книги «Восхождение Человека» не был напечатан в «Русской беседе», так как журнал этот скоро прекратил свое существование. Несмотря на то что я как народник во многом не сходился с Владимиром Сергеевичем — на что указывает другое письмо его ко мне, — он все же всегда был ко мне очень внимателен, а я не переставал восхищаться им и всегда при первой возможности заходил к нему. Главной занимавшей нас темой был вопрос о смысле любви. В моей статье по этому вопросу, исходя из положения, что мы происходим от одноклеточных организмов, которые не умирают — так как деление не есть смерть, а размножение, — я задавал себе вопрос, каким образом и откуда у многоклеточных, более сложных организмов, могла появиться смерть. Я приходил к заключению, что для той основной жизненной клетки, которая составляет наше «я», смерти тоже нет, а существует лишь временное замирание; внешние орудия клетки отпадают и составляют то, что мы называем трупом. Статья эта понравилась Соловьеву; он советовал непременно отдать ее для печати. При этом он не раз вспоминал Федорова 6, известного библиотекаря Румянцевского музея. Замечательно хороший человек этот, убежденный приверженец всеобщего воскресения, вызывал вполне заслуженное уважение таких людей, как Толстой и Соловьев. Соловьев очень сожалел, что Федоров не находит издателя для своих многотомных трудов.

Однажды, войдя к Соловьеву, я застал у него одного молодого поэта-декадента; поэт этот прислал Соловьеву томик своих стихотворений и пришел выслушать его мнение. «Отчего вы так торопитесь печататься? — заметил ему Соловьев. — Вы еще очень молоды, в ваши годы даже Пушкин еще не печатался, а вы торопитесь выступить уже с отдельным томиком. Что бы вам подождать, пока вы не напишете что-нибудь действительно хорошее? Если у вас есть дар, дайте ему хоть несколько созреть и оформиться. Вот природа, уж она ли не даровита, — а между тем, если бы она остановилась на обезьяне, едва ли можно было бы сказать, что она создала нечто прекрасное; но она на этом не остановилась, она пошла дальше, и в человеке мы уже видим задатки чего-то действительно прекрасного. Сделайте и вы так же; теперь ваша поэзия — простите за откровенность — достигла только обезьяньей стадии, подождите, пока она не дойдет до человеческой — если ей это суждено, — и тогда печатайтесь». И поэт, невольно улыбнувшись, горячо пожал Соловьеву руку.

В беседах с Соловьевым меня всего больше поражало то, что, в противоположность Толстому, он боялся быть последовательным до конца. Так, например, он признавал, что тюрьмы являются учреждениями нехристианскими и что, любя ближнего, хотя бы и меньше, чем самого себя, все же нельзя посылать его в тюрьму, нельзя держать его в тюрьме; но при этом он считал безусловно необходимым, чтобы угроза тюрьмой оставалась. Признавая человека по природе существом недобрым, он находил полезным страх наказания. «Я знаю одного человека, — сказал мне однажды Соловьев, — который, наверное, убил бы меня, если бы знал, что останется безнаказанным. Теперь же он боится каторги и старается убить меня внушениями». Мне невольно припомнился при этом рассказ Александра Герасимовича Орфано, утверждавшего, что Влад. Серг. иногда физически испытывает, как черти запускают ему в спину когти и донимают его во время писания.

Говоря о войне, Соловьев охотно признавал, что христианин не должен убивать ближнего; но он был твердо уверен в неизбежности нашествия желтой расы на Европу. Он допускал, что эта раса может водворить на земле лучший политический и экономический строй, но его страшило полнейшее отсутствие в ней мистического чувства, и он считал ее окончательно неспособной постичь христианскую мистику, которой он придавал если не первенстующее, то громадное значение.

ПИСЬМА ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА К Л. П. НИКИФОРОВУ

1

Многоуважаемый Лев Павлович!

Благодарю вас за ваше доброе, хотя и преисполненное недоразумений, письмо. Надеюсь, что главное из этих недоразумений скоро будет разъяснено печатью, а потому спрошу вас только: где вы видели тех либералов, о которых пишете, — я таких не встречал, и мне сдается, что это у вас мечты воображения. А вот вам действительный представитель того либерализма, с которым я имею дело, — Михаил Матвеевич Стасюлевич. Помимо его литературных заслуг, я знаю его безусловно бескорыстную (он ни копейки не получает, а кой-что от себя прикладывает, кроме труда и времени) деятельность на пользу простонародья в Петербурге. Благодаря ему там за последние годы открыто несколько сот новых начальных училищ; там же благодаря ему устроен городской фильтр, вследствие чего смертность от заразных болезней (главным образом в низшем классе населения, ибо высший воды не пьет) сократилась вдвое. Я не знаю в России человека, который заслуживал бы большего уважения, чем этот «либерал». Вообще, эти ярлыки ничему действительному, по крайней мере в России, не соответствуют. Если даже принять ваш весьма недостаточный критерий, то вот вам либерал Стасюлевич, который уже более тридцати лет как ничего не берет с народа и очень много дает ему, а, с другой стороны, народник К. и иные ему подобные преспокойно состоят на казенной службе и получают жалованье, а дают ли они что-нибудь народу — неизвестно.

Кстати: я должен вас разочаровать относительно себя. Вы не совсем верно меня поняли: я говорил, что уже 12 лет как не получаю никакого жалованья, ибо не состою ни на какой службе, но когда в юности я был доцентом университета, а потом членом ученого комитета, я получал свою тысячу рублей в год и не чувствовал при этом никаких угрызений совести. Это происходило,

может быть, от моей безнравственности, а может быть, от моего знакомства с росписью государственных доходов и расходов, из рассмотрения коей явствовало, что не только мои 1000 руб., но все те два или три миллиона, которые идут на поддержание учености в России, никакой важности не представляют; а, с другой стороны, совсем без всякой учености даже турки и китайцы обходиться не могут. О французских своих книгах не могу вам ничего сообщить. Их судьба меня мало интересует. Хотя в них нет ничего противного объективной истине, но то субъективное настроение, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты.

Завтра еду в Петербург недели на две- на три. Если в конце апреля или начале мая случится вам быть в Москве, наведывайтесь, пожалуйста, очень рад был бы с вами еще увидеться.

Душевно преданный Влад. Соловьев.

2

Дорогой Лев Павлович!

Книгу Дрюммонда «Ascent of man» я кончаю только этой ночью. Думаю, что она заслуживает перевода, но тоже с сокращением. Для начала по-прежнему считаю удобнее «Natural Law», как более принципиальную. От предисловия не отказываюсь, но сию минуту написать его как следует не могу; да и для редакции «Русской беседы» мое появление осенью удобнее, чем летом, — хотя вообще их расчет на пользу моего участия в журнале не делает чести их практическому смыслу.

Если вы имеете какие-нибудь особые причины торопиться с этим делом, то напишите мне их в Петербург — Галерная, 20, ред. «Вестн. Евр.». Я уезжаю из Финляндии завтра и вернусь в конце мая.

Получил письмо большое от Арк. из Киева. Рад был факту письма, но содержание кисло-сладкое и отчасти нелепое. Он, между прочим, видит пример нравственного совершенства в Аврааме, намеревающемся заколоть своего сына, — а разум и совесть уподобляет тому «ослу, которого нужно оставить в низу горы Божией». Печальная была бы участь Господа Бога, если бы к нему могли восходить только существа без разума и совести! Буду отвечать А. в скором времени. Еще получил я письмо без подписи из Лукоянова (откуда и вы последний раз писали) по поводу моего «принципа наказания». Письмо очень большое, почерк как будто ваш и образ мыслей также, но превратное понимание моей точки

зрения такое, какого и от вас не ожидал бы. Выведите меня из недоразумения. А то я думал было ответить печатью при случае. Будьте здоровы!

Искренно вас любящий Влад. Соловьев.

3

Не посетуйте, дорогой Лев Павлович, за этот поздний ответ: мне так много приходится писать для печати, что на частную переписку остается совсем мало времени. Еще до получения вашего последнего письма я должен был оставить всякое сомнение в вашей неприкосновенности к лукояновским письмам: те же авторы прислали мне еще письмо, более откровенное и уже явно не могущее иметь ничего общего с вами. Бар. И. еще в апреле решительно отказалась от всякого содействия как по вашему ходатайству, так и по всем другим подобным, с которыми я обращался, — я думал, что вы об этом догадаетесь по моему молчанию. То, что вы пишете по поводу «Принц. наказ.», основано на недоразумении. По моей идее, принцип наказания есть человеколюбие как к потерпевшему, так и к преступнику, а вы говорите, что я возвожу в принцип насилие. Насилие я допускаю как необходимое в известных случаях средство для исполнения обязанности человеколюбия, совершенно так, как в примере Льва Ник. с бросанием детей из окошка при пожаре. Я уже воспользовался этим примером в статье о войне, которая скоро появится, и буду еще им пользоваться, как очень удачной иллюстрацией моей мысли.

Очень бы желал быть предуведомленным, когда вы будете в Москве или в Петербурге, чтобы устроить свидание, а писать много имеет многие неудобства.

Храни вас Бог!..

Любящий вас В. Соловьев.

4

Многоуважаемый Лев Павлович!

Относительно перепечатки статьи моей об Огюсте Конте из Энциклопедического словаря Брокгауза—Ефрона извещаю вас, что согласен на эту перепечатку при следующих трех условиях:

1) Мне будут доставлены прежде напечатания две корректуры — одна в гранках и другая сверстанная, и статья будет напечатана согласно моим поправкам.

- 2) Так как издание не имеет благотворительной цели, то при выходе книги мне будет уплачено за право печатания моей статьи сто пятьдесят рублей.
- 3) Я обязуюсь в течение пяти лет по выходе книги нигде не перепечатывать своей статьи и никому не передавать ее с этой целью; по истечении же пяти лет возвращаю себе право распоряжения означенною статьею.

С истинным уважением Влад. Соловьев

24 февраля 1896 г.

